

«ПО МОРДАСАМ, НО НЕ СИЛЬНО»

* * *

Посидев в кафешке с поэтом Глебом Горбовским, под вечер мы зашли к моему другу Николаю Позняку. Попели песни (исключительно сочинений Глеба Яковлевича), выпили водки, закусили принесенными с собой килькамипряного посола.

— А почитай нам, Коля, стихи свои, — прорычал Горбовский, но Позняк, ученый-химик, заявил, что никогда не писал.

— Пусть уж Леша читает, это его стихия, — отмахнулся он.

— Ну да, — повернулся ко мне Горбовский, — стихи у тебя ничего, но хотелось бы, чтобы как-то вот эдак бы...

— Чего, Глеб Яковлевич? — спросил я, наливая по стопкам.

— А и вправду, чего не хватает? Как надо? — подыграл Николай.

— А вот как! — рубанул Горбовский ребром ладони по столу так, что подпрыгнули стопки и кильки. — Стихи должны по мордасам бить... — он немного помолчал и добавил: — Но не сильно... Я всегда старался так писать.

Вот в этой добавке и сосредоточился весь его опыт профессионального поэта. Если не по мордасам — то не интересно ни себе, ни читателю, а если переборщить, то цензура не пропустит. Стало быть, и до читателя не дойдет.

«По мордасам, но не сильно», — вспоминаю я всегда, когда речь заходит о лучших поэтах второй половины XX века.

* * *

Ранним утром поэту Геннадию Григорьеву позвонил драматург Сергей Носов и сказал, что у него есть «халтура» на сто баксов — нужно срочно написать стихотворение, посвященное поэту Александру Кушнеру. «Да знаю я прекрасно, что ты его

Ахматов Алексей Дмитриевич — поэт, прозаик, критик, издатель. С 80-х годов прошлого столетия публиковался в различных журналах и альманахах, антологиях и справочниках страны и ближнего зарубежья («Нева», «Звезда», «Аврора», «Юность», «Литературная учеба», «Немига литературная», «День поэзии», «Русские стихи 1950–2000», «Литературный Петербург XX век» и т. д.). Член Союза писателей России (Санкт-Петербургского отделения) с 1994 года. Лауреат премии им. Бориса Корнилова «На встречу дня» за 2010 год и премии им. Гоголя в номинации «Портрет» за 2016 год. Автор нескольких поэтических сборников, книги критики и прозы. В настоящее время (начиная с 1997 года) руководит поэтической секцией общества «Молодой Петербург» при Санкт-Петербургской писательской организации Союза писателей России, является главным редактором одноименного ежегодного альманаха и одним из учредителей стартовавшей в 2009 году ежегодной премии «Молодой Петербург». С 2013 года читал курс лекций по основам стихосложения в Институте культурных программ.

терпеть не можешь. Что с того?! Заказчик — московский меценат, если не получит стихотворение к середине дня, отдаст заказ в другие руки. А деньги будут завтра вечером», — рассудительно убеждал он.

Невыспавшийся Григорьев, кляня Кушнера последними словами, сел за работу, однако уже через пару часов, отринув с полсотни вариантов, по телефону зачитал Носову получившееся четверостишие:

Говорят, что мир разрушен,
Но хранит высокий свет
Александр Семеныч Кушнер,
Лучший в Питере поэт.

Лишь отослав стихотворение, Гена посмотрел на календарь и увидел дату «1 апреля». Стоит ли говорить, что никакого московского мецената не существовало и денег Григорьеву не заплатили? А четверостишие это вскоре появилось в Интернете за подписью «Г. А. Григорьев», чем немало удивило поклонников талантов обоих литераторов, хорошо знающих об особенностях отношения их друг к другу.

* * *

Поэт-фонтовик Герман Гоппе много лет руководил Клубом молодого литератора при Союзе писателей СССР и литобъединением при газете «Смена». «Не говори Гоппе, пока не перепрыгнешь», — шутили мы между собой, сдавая ему рукописи на очередную конференцию или сборник «Молодой Ленинград».

Прошло время. Союз распался на два неравных куска, Дом писателя сгорел. Молодые литераторы занялись бизнесом или просто поиском куска хлеба насущного. Герман Борисович плохо себя чувствовал и не мог самостоятельно набирать свои тексты на машинке.

Незадолго до смерти он позвонил мне и сказал: «Представляешь, у меня за жизнь в общей сложности было семь тысяч учеников, а вот сейчас, на старости лет, никто не может мне помочь перепечатать на машинке мои стихи. Ни один человек. Все говорят, что им некогда».

Пришлось печатать мне, хотя я как раз его учеником не являлся. Набирая его подборку на компьютере (тогда это еще был «Спектрум»), я все думал о бренности заслуг и авторитета и попутно о том, что Вознесенский таки отказал Пастернаку перепечатать его стихи, считая, что он выше этого.

* * *

Поэт Дмитрий Толстоба рассказал мне забавный случай. В метро «Василеостровская» по эскалатору поднимался председатель секции поэзии, ленинградской писательской организации Семен Ботвинник. К нему на ступеньку встал молодой человек и с восхищением в голосе произнес:

— Здравствуйте, я узнал вас: вы гроссмейстер Корчной.

— Нет, — обескуражил его поэт-фронтвик, — я — Ботвинник!

Вообще-то когда Семен Вульфович занимал председательское кресло, фамилия его мало располагала ко всякого рода шуткам. В союзе ходило немало историй о загубленных им судьбах начинающих писателей. От его решений зависело, кому печататься, а кому нет, кому вступать в союз, а кому сидеть до старости в «дворниках и сторожах».

На одном из первых своих официальных выступлений в союзе я прочел стих про ветерана, который, расталкивая очередь, с бранью лезет к прилавку с фруктами. Там была такая строфа:

Он и тогда был не честней,
Был и тогда прохвост.
Он руку сбросил на войне,
Как ящерица хвост.

Заклучая вечер, Ботвинник сказал: «Какое отвратительное стихотворение написал молодой поэт Ахматов». Несколькими годами раньше эта фраза бы перечеркнула мою литературную карьеру. Теперь же было совсем не страшно. Была какая-то веселая злость. Уже начиналась перестройка, крушились незыблемые авторитеты, и хаос постепенно овладевал всем вокруг.

Впоследствии Ботвинник стал тихим и скромным пенсионером. Трогательно сутулясь, он, довольно интересно и всегда по делу, выступал на разных мероприятиях, на которые изредка выбирался. И многие его стихи стали мне нравиться. Особенно это:

Берлин горит. Подтаявшая тьма
Все выше поднимается и выше...
Огонь вошел в угрюмые дома,
И с тяжким гулом оседают крыши,

И наземь балки падают, звеня,
И жаркий пепел сыплется за ворот...
Я много видел пепла и огня;
Я видел свой, войну познавший, город,

И пламя, полыхающее в нем...
Берлин горит совсем другим огнем.

* * *

Как бы я с этой женщиной жил!
За нее, безо всякой бравады,
я бы голову даже сложил,
что сложнее сложенья баллады.

Дав отставку вчерашним богам,
я б не слушал сомнительных сплетен.
И отдал бы ей все, чем богат.
И добыл бы ей все, чем я беден.

И, за нею не зная вины
(что поделаешь — годы такие...),
наблюдал я лишь со стороны,
как бездарно с ней жили другие.

Но однажды (я все же везуч —
 помогает нечистая сила)
 протянула мне женщина ключ.
 Поняла, позвала, поманила.

И теперь не в мечтах — наяву,
 не в виденьях ночных, а на деле
 как я с женщиной этой живу?
 А как сволочь. Глаза б не глядели.

Автор этих строк — Геннадий Григорьев, мастер колких, почти эстрадных поэтических реприз, однажды рассуждал:

— Я человек выстрела, мне важна не метафора, которую все видят, мне важен выстрел, и я — стреляю. Это моя боль. А когда я понимаю, что я стреляю вхолостую и не падают те, в кого стреляю, значит, у меня что-то не получилось. Вообще меня мало интересует поэзия метафорная, у истоков которой стояли Мандельштам, Пастернак и другие. Первый-то, конечно, покруче был.

— Но ведь каждый из них шел своим путем в русской поэзии и делал свои открытия. На этих путях все исчерпано? — спросил я.

— В забоях, на рудниках еще что-то осталось. Золотишко кое-где есть. Поэтому туда еще ходят. Ищи и ты, а я рублю главный туннель. Меня золото не интересует.

— А что ищешь ты?

— Свет! Только свет. Вот Вознесенский говорит: «Кому-то надо быть истопником». Придумал тоже: «мать — тьма». Ну и что?! Русский народ миллион таких вещей придумал. Неинтересно это. Евгений Александрович (Евтушенко — А. А.) куда больше постарался, но и он тоже пораженец.

Я не политик, мне наплевать на то, что сейчас происходит, но мне больно и обидно, что закончилась русская литература. Мое поколение потерпело крушение. Ведь мы все просчитали, как в шахматах. Мы просчитали, как бы было бы, если бы не было коммунистов. И — проиграли. Ничего не стало. И литературы.

— А что же осталось?

— Не знаю. Может быть, этот город... Я не люблю деревенщиков и никогда не стану деревенским поэтом, со всеми их избами, березками, платочками. Не потому, что этого не понимаю. Оно мне тоже дорого, но мое — это Питер. Береговая линия Финского залива — линия моей судьбы. Ее ломали, да не поломали.

И он внезапно задекламировал:

Окушки теребили кукан,
 Но клевало все хуже и хуже.
 И внезапно дремучий туман
 Поднялся над Маркизовой лужей...

* * *

Читая воспоминания о поэтах Серебряного века, поражаешься иногда, до чего же писатели разных столетий похожи друг на друга. Даже чудачества во многом сходны. Недавно прочитал, что Сергей Есенин звонил сестре своей приятельницы, говоря: «Вы знаете, умер Есенин. Приезжайте». Другу некролог предлагал написать. И мне тут же вспомнилось, как прозаик Игорь Лапшин, напившись, заставлял меня звонить куда-то в Сибирь, куда уехала его любимая женщина, чтобы сообщить, что он умер и необходимо срочно приехать на похороны. А поэт Вик-

тор Ширали написал стихотворение на смерть Владимира Нестеровского лет за двадцать до кончины последнего, и тот, надо сказать, был несказанно рад этому произведению: «Здесь лежит Нестеровский, пиита отвратный на вид...»

Кстати, что касается Нестеровского, то когда я читал воспоминания о Мандельштаме, всегда невольно принимался оправдывать Владимира Мотелевича. Однажды я пришел в Дом писателя на Воинова со своей мамой (небывалый случай, может быть, даже единственный в моей поэтической жизни). Видимо, должно было быть какое-то образцово-показательное выступление. Первый, кто нам повстречался в фойе, был Нестеровский. Он тут же заинтересовался матушкой и пригласил ее на кофе в писательский ресторанчик. Обрадовавшись, что она на какое-то время пристроена, я понесся по каким-то своим делам, а когда мы увиделись с ней вновь, она с явным раздражением спросила меня, что это за тип, на которого я ее так опрометчиво оставил.

«Представляешь, — возмущалась она, — он заказал два кофе, какие-то булочки, а когда подошла очередь расплачиваться, заявил: „А у меня денег нет“. Конечно, я заплатила за двоих, но такой наглости я еще не видывала».

Ну как не вспомнить здесь, как Осип Мандельштам пригласил сестер Наппельбаум покататься на лодке по Царскосельскому пруду. А как только лодка причалила к берегу, он грациозно соскочил с нее, подав руку жене, оставив ошеломленных девиц самим расплачиваться за это увеселение (и это еще не самый яркий случай в ряду подобных). В другой раз он вставил себе золотой зуб из материала дантиста, заявив, когда все было сделано, что денег у него попросту нет. Нестеровский на этом фоне — само благородство. Но что самое интересное — у многих великих наших поэтов, совершавших постоянно дикие и бесчестные поступки, было самое обостренное чувство чести. Взять хоть Гумилева. Ведь воплощенное бесстрашие и рыцарство, а как бесчестен и жесток был с женщинами. От Ахматовой, которой изменял с остервенением, и до Елизаветы Дмитриевой (впрочем, ею далеко не кончая), из-за которой получил свою знаменитую пощечину от Волошина. А певец прекрасной незнакомки и возвышенной любви Блок, питающий пристрастие на деле лишь к продажным женщинам? Да кого ни возьми — везде дисбаланс между жизнью и стихами. Вот и Нестеровский, напиваясь, обычно любил разглагольствовать про честь. «Честь, — кричал он в телефонную трубку, прощаясь, — честь имею!»

Когда однажды я не приехал на какую-то нашу встречу, он позвонил мне и в недопустимом тоне стал отчитывать меня, как ребенка (при том, что сам мог, наобещав, не явиться куда угодно, вплоть до собственного выступления). Когда мне это надоело, я вяло произнес:

- Ну, вызовите меня на дуэль, в конце концов.
- Дуэль еще надо заслужить! — взвизгнул он.
- С чьей стороны? — начал заводиться я.
- С вашей, с вашей! — крикнул он и бросил трубку.

Причем все это делалось, я убежден, довольно искренне. Поэты всегда искренни и в своих взлетах, и в своих падениях. Наверное, потому что никогда не играют, так как постоянно находятся в игре. И в этом нет противоречия.

«Первая задача поэта — выдумать себя», — писал Иннокентий Анненский. Играя в такую игру, на игрушки в общечеловеческом смысле ни сил, ни интереса, видимо, не остается.

* * *

В конце 90-х я с Борисом Хосидом, с которым был тогда дружен, объездил множество самых разных питерских поэтов с видеокамерой. Это казалось важным — ведь

многие читатели видели поэтов только на титульном листе собрания сочинений. Мы снимали на пленку то, как поэт читает свои стихи, что он думает о литературе, в какой обстановке, в конце концов, живет. Кто, например, знает, как выглядит рабочий кабинет Виктора Сосноры, какие книги стоят в шкафу Вадима Шефнера? Мы и название для этого проекта придумали: «Питерские поэты конца XX века».

И вот в поле нашего зрения оказалась Елена Шварц, модный тогда поэт-авангардист. Я позвонил ей, и она уныло выслушала мои тирады о важности передать для читателей образ современного поэта, окружающий его быт. Долго отнекивалась, говоря, что ей очень некогда, и оживилась лишь, когда спросила, сколько ей заплатят.

Я собрал в кулак все свое возмущение и вкрадчивым голосом сказал ей:

— Ну что вы, Елена, мы же понимаем, что поэты — люди небогатые. Поэтому мы весь проект осуществляем за свой счет и никаких денег с вас не возьмем.

— Вы неправильно меня поняли, — начала раздражаться Шварц, негодуя на мою бестолковость. — Я спрашиваю, сколько денег я получу за ваши съемки?

Мне оставалось только валять дурака:

— Не волнуйтесь, пожалуйста, никаких расходов не потребуется. Для вас все будет абсолютно бесплатно.

— Тогда мне это не интересно, — заявила она и бросила трубку.

Ее обильно издавала за граница, светила какая-то премия, — по-моему, ее сознание придавило «Букером» или чем-то в этом роде.

Я подумал тогда — как странно. Нас сразу и радушно принимали такие мэтры, как Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Надежда Полякова, и даже поэт из того же андерграундного круга, что и Шварц, но только успевший ухватить побольше почестей, Виктор Кривулин. А Елена, только-только хлебнув славы, уже вела себя как привередливая «звезда».

* * *

Лучший (после Чуковского) детский поэт XX века в одном из своих интервью сказал, что терпеть не может маленьких. Это нормально. Это даже закономерное... «Танцует тот, кто не танцует», — написал об этом когда-то Александр Кушнер.

Правда, перевалив за девятый десяток, Сергей Михалков заявил, что и стариков не любит. Говорят, когда кто-то упрекнул его в том, что он написал плохие слова для гимна, то ответ получил такой: «Зато ты будешь слушать их каждый раз стоя». Хороший ответ.

Целая эпоха за спиной. Неслабый путь от чернорабочего до главы Союза писателей. Можно по-разному относиться и к нему, и к его отпрыскам. Все мы неотвратимо «едем, едем, едем в далекие края». Теперь вот уехал и сам Михалков, большой художник и крупный человек.

А давным-давно, в 1942 году он написал такие стихи про «десятилетнего человека»:

Крест-накрест белые полоски
На окнах съезжившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.

И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе.
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе.

Накинув драный зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу, прямо на восток.

Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел,

В нетопленной, разбитой бане,
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!

Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза,
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.

Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.

Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.

И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.

Когда его спросили, что в жизни главное, он, не задумываясь, сказал: «Творчество».

* * *

На открытие первого номера журнала «Северная Аврора» приехали нас поздравить московские литераторы из журнала «Литературная учеба» и «Юность». Поэт Андрей Романов попросил подготовить москвичам подборки стихов, и я засел за компьютер в вечном поиске, что бы дать. Дело в том, что практически все мной написанное было либо опубликовано (через неделю выходило мое избранное, с последними стихами), либо рассматривалось для публикации. Только-только у меня попросили десяток стихов в альманахе «Петрополь», а два дня назад я отнес подборку в журнал «Нева». Однако же какие-то стихи выбрать было нужно. Совсем старые, из прошлых книг, брать не хотелось, но я подумал: «А что, собственно, москви-

чам? Не все ли равно. Моих стихов никто из них не публиковал, да и не читал, наверное. Какая им разница!» Подобрал, скомпоновал и распечатал.

Пришло время знакомиться. Приятные ребята. Прозаик и критик Игорь Михайлов и поэт Валерий Дударев. Разговорились. Я представился.

— А ведь я вас знаю, — воскликнул Михайлов.

— Откуда? — удивился я.

— А я читал вас когда-то... по-моему, в «Книжном обозрении». Сейчас я даже вспомню, там еще метафора такая была: что-то о том, как рощица сбегает с холма, как молоко...

— А! — еще больше удивился я. Действительно, было такое:

С холма березовая рощица, вскипая,
Сбегает вниз, как с плитки молоко.

Но ведь это было лет восемнадцать-двадцать назад.

Ребята засмеялись, а мне невольно, сквозь приятную волну, стало стыдно за мысли о том, что москвичам все равно, что им дают. «Двадцать лет помнить чужую строку», — с трепетом подумал я и смог сказать только:

— Ну и память...

— Ну и образ, — парировал Игорь Михайлов.

Тем же вечером после презентации «Северной Авроры» мы собрались на ЛИТО с моими учениками. Я, не удержавшись, похвастался этой историей, а затем вышел поговорить по телефону. Выйдя, за дверь услышал комментарий молодого поэта Кирилла Пасечника: «Во заливает!»

И от его неверия история приобрела еще большую значимость, а мое самодовольство раздулось еще сильнее.

* * *

Отсняли сюжет, посвященный 199-летию со дня рождения Тютчева. Задумка такова: в кабачке собирается поэтическое общество «тютчеведов». Роли распределены заранее. Прозаик Володя Шпаков — эксперт-биограф. Поэт Николай Наливайко — восторженный почитатель. Поэт Евгений Антипов — «злой следователь» с тезисами: устарел, архаичен, дидактичен. Я — «противовес» Антипову: метафоричен, афористичен, патриотичен.

Половину из беседы ведущая забрала как слишком умную для телевизора. При этом выразила удивление:

— А Тютчев что, был патриотом?

— А как же, — говорю, — убежденный государственный.

— Надо же... я разочарована, — протягивает она.

— Почему? — удивляюсь в свою очередь. — А кем же, вы думаете, он был?

— Ну, — затрудняется ведущая, — а я думала, он нормальный человек.

Такой диалог. Красивая, ухоженная девочка. Даже стихи, посвященные Денисьевой, знает.

Затем съемочная бригада уехала, а мы продолжили, рассуждая, в какую партию вступил бы Федор Иванович сегодня. Мне почему-то подумалось, что в КПРФ, даже несмотря на то, что, будучи старшим цензором страны, он запретил публиковать «Манифест коммунистической партии» со словами: «Кому надо, прочтут и на немецком».

* * *

С удовольствием перечитал один из ранних сборничков Александра Кушнера «Приметы». Это белоснежная, в суперобложке, книга тиражом в 10 000 (!) экземпляров, которую выпустил обыкновенный учитель обыкновенной школы рабочей молодежи на Выборгской стороне, в возрасте тридцати трех лет. Там нет ни одного «датского» стихотворения. Есть о душе, есть о вечной жизни (о душе вообще замечательно):

...То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде...

Есть об аде (на дворе воинствующее безбожие конца 60-х):

И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду...

И о рае: «...то тихо скрипнет дверь в раю...»

Поэтому мне всегда смешно, когда рассказывают о том, как цензура снимала стихи и целые подборки, если редактор замечал религиозный подтекст. А может, просто писать нужно было хорошо, тогда б и рай, и ад проходили?

Но возвращаюсь к «Приметам». Не могу не привести блестящее, возможно, лучшее в книге стихотворение:

Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.
Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.
Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, — говорю, —
Меня в нем только нет».
Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.

Это, кстати, третья книга, а первая у Кушнера вышла в двадцать шесть лет. Причем не пятьсот экземпляров за свой счет, как, например, у Марины Цветаевой в 1910-м, в несоветские времена, а те же десять тысяч, продаваемых по всей стране. И получил за нее гонорар, на который можно было жить год. При этом он пишет, говоря о Бродском: «...наша бедная, полунищая, убогая, до 1987 года подневольная жизнь представляется ему оазисом». Чудны дела твои, Господи. Где, в каком уголке мира молодой поэт мог иметь столько воли, столько внимания и вообще всего того, что имели поэты в нашей стране?..